

МНОГИЕ из тех, кто смотрел телевизор в тот вечер, 16 мая, узнают моего героя. По первой программе Центрального телевидения, напомню, впервые демонстрировалась документальная лента «Процесс», созданная творческим объединением «Экран». В обоих фильмах есть эпизод, снятый в пединституте имени В. И. Ленина и зафиксировавший диспут, в котором наряду с преподавателями — историками участвовали аспиранты. Если вы помните, дискутировали они на тему, как в условиях гласности, когда на глазах происходит перевосмысление целой исторической эпохи нашего государства, еще недавно преданной забвению, преподавать эту самую историю. И в вузе. И в школе.

Смотрю на экран — и вдруг знакомое лицо: ведет диспут человек поистине легендарной судьбы. В годы войны на него пришла похоронка, и близкие не надеялись его увидеть. А он заявился: покалеченный, потерявший зрение, но живой.

Смотрю на экран, вспоминаю историю десятилетней давности — историю знакомства с А. Т. Антоненковым, которое началось благодаря «Московскому комсомольцу».

Естественно, не удержалась, позвонила Льву Тимофеевичу. Интересно все-таки, как он, участник фильма, чувствует себя после выхода фильма на экран.

— Получил ли я удовлетворение от картины? Вы, наверное, обратили внимание: фильм отличает фрагментарность. Вот и я подготовил целый методологический семинар, а в картине остались крошки.

— Но все равно понятно, о чем идет разговор. И интересный разговор. Честный.

— Да, но фильм пролежал на полке восемь месяцев. Его не выпускали на экран. Хотя, мне кажется, документальное кино не должно опаздывать, оно должно успевать за жизнью.

— Режиссер, взявшийся за эту картину, наверное, хотел успеть. Не его же вина, что фильм придержали, мягко говоря.

— Я помню его слова, которые сказал он мне при первом же знакомстве: «Сейчас мы шепчемся, а через год об этом кричат будем!». Пророческие оказались слова. И потому обидно, что фильм пришел к зрителю после того, как наши газеты и журналы напечатали очень интересный фактический материал. Ведь в том, что «Огонек» опередил телевидение и напечатал письмо-заявление товарищам по партии, переданное Бухариной своей жене и которое та пронесла через все испытания, скитания по лагерям, не столько заслуга журнала, сколько беда телевидения. Режиссер телевидения Беляев, снявший эту картину, первым нашел жену Бухарина, первым из журналистов познакомился с этой удивительной женщиной, которая с экрана донесла до наших современников светлый образ Бухарина — одного из ближайших соратников Ленина, к которому Ильич относился с глубоким уважением. Жаль только, что самому Беляеву сказать об этом первому не удалось.

— Несмотря на это, фильм хорошо принял телевизионную аудиторию. Он многое спорят, он заставляет многое думать.

— Вы знаете, сколько было звонков после этого фильма? Буквально в тот же день звонили из Красноярска, Перми, Одессы. Звонили мои аспиранты — бывшие, конечно, которые работают в самых разных уголках страны. И все как один спрашивали: неужели такой фильм заработал?

— А как вы попали на съемки, не спрашивали?

— И об этом спрашивали.

— Так как?

— Мне позвонил режиссер Беляев домой. Сказал, что задумал фильм о перестройке. Звонил, естественно, как историку, как преподавателю самого уязвимого в наши дни предмета. Знаю, что я не первый, кому Беляев звонил. Он выбирал человека, который, по его режиссерскому замыслу, выполнил бы в его кинофильме определенную роль. Какую?

— С этого началась наша первая телефонная разговор с режиссером, он меня еще не видел, когда спрашивал, как я отношусь к Сталину, просил ответить честно. Я сказал: негативно. После этого начались наши переговоры.

— В фильме ваше отношение к Сталину показано. Не в лоб, а очень спокойно.

— Да, мы даже поспорили с коллегой доцентом Спектор. Она что-то сказала про то, что в 37-м мне было мало лет и я ничего не могу знать о сталинских временах. А по моей судьбе 37-й год тоже прошелся и оставил свою отметину. Отца моего взяли вскоре после печально знаменитого февральско-марсовского Пленума, сначала брата его Петра,

который, как и отец, был учителем. Братья очень дружили, мы жили в Геленджике, где отец возглавлял районный отдел народного образования. Был в отцовской семье еще один брат — дядя Володя, участник первой русской революции, который после того как революция поротела, эмигрировал в Америку, работал в Канаде лесорубом и вернулся домой в канун Октябрьской революции — словом, Джек Восмеркин из недавней кинокомедии. Но дядя Володя не тронул, пострадали только два брата-интеллигента. Дело в том, что дядя Петя в молодости был засором-максималистом, а на отца, наверное, легла тень брата. Я не удивился бы, если бы сейчас узнал, что и отца и его брата Петра обвинили в причастности к террористической группировке — тогда такие доносы были обычным делом.

— И эти аресты сказались на вашей судьбе?

— А как вы думаете, если тебе 15 лет — возраст, когда все воспринимаешь очень остро, а тебя называют не иначе, как сыном врага народа?! Ходили мы по Геленджику вместе с товарищем Вовкой Семеновичем, у которого отца, земского врача, как и моего, арестовали в одиночке, — а на нас пальцами показывают. Морально, скажу я вам, очень неуютно себя чувствуешь. А теперь этот мой геленджикский товарищ в МГУ кафедрой геологии заведует. И отцов наших оправдали. Моего через три года выпустили — за отсутствием состава преступления. Но три года, которые он провел в лагере, строил железную дорогу где-то в Карелии, не прошли для него бесследно. По крайней мере отец больше никогда не занимался педагогической деятельностью.

Меня же исключили из комсомола как сына врага народа. Правда, через два с половиной года восстановили — тогда Сталин обратился к народу со словами: сын за отца не ответчик. У меня комсомольский билет сохранился. С ним я всю войну прошел. Все документы растерял, а комсомольский билет остался цел — вот что удивительно.

Я держала в руках этот комсомольский билет № 2555567, принадлежащий Антоненкову Льву Тимофеевичу, 1921 года рождения, документ своего времени, в котором отразились противоречия сталинской поры. И всматривалась в даты: время вступления в комсомол — май 1936 г., выдан билет 11 марта 1939-го. Комсомольские взносы, естественно, тоже платятся с марта 1939-го...

— Вот вы сказали, что отец после лагеря, хотя его и оправдали, никогда больше не занимался педагогической деятельностью. А вы стали педагогом. По примеру отца?

— Нет, здесь больше виноваты обстоятельства. Я приехал после школы в Москву, поступил в строительный институт. Со студенческой скамьи ушел на фронт. В 39-м, как вы знаете, началась война с финнами. И весь наш первый курс оказался в армии. Финская операция очень быстро показала наше неумение вести войну в специфических условиях этой местности — финны отличные стрелки, отличные лыжники. Вот и нас сначала в Чебоксарах, затем в Горьком стали готовить для боевых действий в Финляндии. А я на юге вырос, лыжи в армии первый раз увидел — какой из меня лыжник?! Пока нас учили, все закончилось, а в 41-м я в составе 771-го стрелкового полка 137-й дивизии уже воевал.

Я, когда со студентами говорю, всегда предстераю, чтобы они не верили в бравурный фильм про войну, когда партизан с берданкой фашистов побеждает, и те, как нашего партизана увидят, сразу «Гитлер капут!» кричат. Братья немцев в плен в 41-м было сложно. Шли вояки — сильные, уверенные в себе. А мы отступали. Я этого своим студентам не говорю, но спасся я тогда благодаря своим длинным ногам. Помню, в районе Вязьмы мы вышли, наткнулись на часть НКВД. С недавно сидевшими держали, пока мы проверку не прошли. Потом я получил направление во 2-е танковое училище, и уже танкисты каждого 5-й танковой армии прошли Украину, Молдавию, Румынию...

В Румынии, в местечке Думбрэвице, меня и ранило. Бой был тяжелый, не знаю, как успел высокочить из танка, в башню которого попал снаряд, но через несколько мгновений на месте, где стоял наш танк, взвился столб пламени. Помню только: правой рукой уже не было, но я еще видел: далеко-далеко наша машина. Вроде, как механик-водитель меня тащил по полу под немецким обстрелом помню, как люк танка открылся и меня втащили внутрь — отрывочно, но помню. А через неделю три, когда очнулся в Умани и услышал украинский говор, открыл глаза — и ничего не вижу.

— И со своей женой вы в институте познакомились?

— Она как раз из тех, благодаря кому я учился. Была у нас Нина Карташова, партнёр курса, моя Оля с ней дружила. Оле, как и я, фронтовики. Не дали бро-

сить учебу, в самые трудные времена поддержали; приобщили. Потом с Ниной Карташовой мы вместе в аспирантуре учились... Ну а кандидатскую писал вместе с женой. Точнее, я надиктовывал. А так как она тоже историк, то мы даже скорились с ней, она пыталась настоять на своем, а я говорил: «Это моя диссертация».

— 23 года лейтенант, а он без руки и слепой Тяжко...

Год почти в госпиталях отлеживался, подлечился, выписался. А куда деваться —

— Филатова. Делали пересадку роговицы, а донорская ткань не приживалась. Потом услышал про новую методику академика Краснова Михаила Михайловича, который для замены поврежденной роговицы применил впервые чистый плексиглас. Эта идея подсказана войной: у летчиков-истребителей при различных столкновениях в бою разбивался плексигласовый колпак, осколки попадали в глаза и никаких последствий не вызывали. Меня оперировал ученик Краснова Удинцов Борис Евгеньевич. Из его пациентов я был 51-й по счету, и все закончилось удачно. Операция, конечно же, утомительная — три с половиной часа проплавал на операционном столе. Но я прибыл — сколько до этого лежал в той же Одессе!

— И как вы впервые поняли, что видите?

— Прямо на операционном столе. Вдруг я увидел такой яркий свет, что глазам стало больно. Физически свет так давит, что хочется спрятаться. Хирург спрашивает: «Что, мешает?» — «Очень даже», — говорю. — «Что видите?» — «Пять пальцев», — отвечаю. Это он свою руку показал.

Но что самое интересное, 6 октября 1977 года мне сделали операцию, а на следующий день сняли повязку. В Одессе я после операции по две недели на спине лежал — после этого ходить заново учился. А тут на следующий день за мной в палату приходит и говорит: «Пойдемте», заводят в кабинет и показывают, что читать. Читая первую строку, вторую... Очко мне еще подобрали, но я уже понимал, что вижу!

— И не разучились читать?

— Не разучился, хотя 32 года прошло с того дня, как ослеп. Вот писать учился с трудом. Карандаш держать левой рукой не привык — тут была большая трудность. Теперь пишу быстро.

Тогда же, помнится, только-только повязку сняли, возвращаясь в палату, там газета. Беру в руки, текст — к глазам, вижу все. «Хотите, говорю, я вам политинформацию сделаю?». Прочитал заметку — мне не верят, подошли, проверили. Надо же, говорят, и вправду, читает!

— А как домашние эту новость восприняли?

— Звоню жене в институт из автомата и говорю, что вижу. Хочешь, говорю, скажу номер автомата, по которому звоню? Она на работе была. Слыши: всхлипывает, а потом спрашивает: «А еще что видишь?» — «Пол в шашечку», — отвечаю.

Про этот «пол в шашечку» мы теперь со смехом вспоминаем. А тогда это было цепное открытие и для меня, и для нее, и для всех наших друзей, которые очень за меня переживали.

Тут моя Оля подхватила дочерей, с ней наш товарищ, с которым мы вместе тогда в пединституте работали, — и ко мне в больницу. Только на ступеньки, а там уже разговоры: на 5-м этаже — какая радость — человек 32 года не видел, а теперь увидел! Они уже на этаже, а я по коридору прогуливаюсь, Оля потом рассказывала, и мимо них так гордо проходжу...

— Не узнали?

— А как я их мог узнать?! Мне голос нужно было услышать! Вот когда Оля заговорила, я впервые ее увидел. Меня поздравляют, а я говорю: «Погодите, дайте хоть на девочку своих посмотреть!». Вот такое чудо со мной произошло.

— В том самом году, когда мы с вами познакомились?

— А это тоже Оля. Она поначалу очень меня оберегала, по-прежнему газеты читала сама вслух. Вдруг говорит: «Лева, в «Московском комсомольце» про твою 32-ю танковую бригаду написано!». И читает, как ветераны-танкисты каждое 23 февраля встречаются у комсорга батальона Нины Яковлевны Вишневской, адрес был указан в газете. И я написал открытку Нине.

— ВЫ МНОГО лет работаете с молодежной аудиторией, со студентами и прекрасно понимаете, что волнует нашу молодежь сегодня. Скажите, пожалуйста, часто ли вам сейчас задают вопросы, на которые вы затрудняетесь ответить?

— Все наизусть заучивал. Благо память цепкая с молодостью. Когда магнитофон приобрели, им начал пользоваться. До сих пор еще сохранились записи, по которым я к лекциям готовился. Наговаривали их мне все в семье. Марина, младшая дочь, о разночинцах материала готовила, не разобрала, что написано «Герцен», так и звучит в магнитофоне ее детский голосок «Герцен».

— И все же теплилась надежда, что будет видеть?

— Теплилась. Светоощущения у меня были всегда. И поэтому врачи несколько раз брали меня на операцию. Много лет ездил в Одессу, в знаменитую клинику

Филатова. Делали пересадку роговицы, а донорская ткань не приживалась. Потом услышал про новую методику академика Краснова Михаила Михайловича, который для замены поврежденной роговицы применил впервые чистый плексиглас. Эта идея подсказана войной: у летчиков-истребителей при различных столкновениях в бою разбивался плексигласовый колпак, осколки попадали в глаза и никаких последствий не вызывали. Меня оперировал ученик Краснова Удинцов Борис Евгеньевич. Из его пациентов я был 51-й по счету, и все закончилось удачно. Операция, конечно же, утомительная — три с половиной часа проплавал на операционном столе. Но я прибыл — сколько до этого лежал в той же Одессе!

— Скажите, а какой наиболее важный вопрос, на ваш взгляд и историка, и человека, должен остро обсуждаться на XIX Всесоюзной партийной конференции? И если бы вам довелось выступать на ней, какую позицию вы бы отстаивали?

— Принято считать, что в силу исторических условий у нас не может быть альтернативы однопартийной системе. Моя точка зрения: мы поссорились и не помирились с левыми эсерами в свое время. А если мы с ними помирились, не было бы антиононини, не было бы крестьянских мятежей. Ведь у левых эсеров был громадный авторитет у крестьян, народ за ними шел. О том, что страна переживает острый политический кризис — самый острый за годы Советской власти, Ленин говорил в блокноте, которая сложилась сразу после гражданской войны. Но мы почему-то раз и навсегда решили, что наша однопартийная система самая идеальная. Какая же она идеальная, если нас, коммунистов, некому критиковать? Что касается самокритики, она не всеми уважается. Вот и остается: верхи критикуют тех, кто стоит ниже на социальной лестнице. Ну а критика снизу большого эффекта не дает. Я считаю, что вопрос о многопартийности может бытьнесен в повестку дня Всесоюзной конференции. Тогда будет проще решать многие вопросы, в том числе и социальные. Но, чтобы пойти на это, надо иметь мужество.

— Вы считаете, что процесс демократизации у нас во многом сдерживается именно по этой причине?

— Это одна из причин. Вторая сидит в каждом из нас. Это инерция мышления, привычки, что все равно без нас решат. Так пока еще думают очень многие. К сожалению. Надо сломать эту примиренческую психологию. Наše поколение, воспитанное на старых традициях, трудно пересмотреть. Но молодые не имеют права так думать. Вот что для меня важно как для преподавателя, который читает студентам самый сложный на сегодняшний день предмет.

Сейчас каждый имеет право на свою точку зрения. Главное, чтобы мы не воспитывали догматиков — учили студентов думать.

— То есть вы хотите сказать, что история в наше время можно преподавать по-разному?

— Несколько школ в науке — это нормально. В истории, как ни в чем другом, необходим анализ противоположных точек зрения. Печать в этом отношении далеко опередила преподавание. В «Известиях» появилась рубрика «Письма не для печати».

Или давайте вернемся к фильму «Процесс». Там был момент, который не вошел в картину: один мой аспирант рассказал крамольную вещь, объяснив Сталина преступником — не забывайте, что фильм снимался год назад и тогда так прямо говорить немногие могли.

— Да, но эта фраза все же прозвучала в фильме — только в устах жены Бухарина.

— И очень точно прозвучала. Она — никоточка к пониманию того, что многие сегодняшние наши беды — сталинское